

Хелен Стур-Роммерэйм

Конструирование и деконструкция НОВОГО ВЗГЛЯДА НА МАССЫ:

ПСЕВДОАВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ
РАЗНОЧИНЦЕВ - РЕАЛИСТОВ

Helen Stuhr-Rommereim

Constructing and Deconstructing a New View of the Masses:
Pseudo-autobiographical Narratives of the Raznochinty Realists

Хелен Стур-Роммерэйм (Суортмор Колледж, США, приглашенный ассистент-профессор; PhD) hstuhrr1@swarthmore.edu.

Helen Stuhr-Rommereim (PhD; Visiting Assistant Professor of Russian, Swarthmore College, USA) hstuhrr1@swarthmore.edu.

Ключевые слова: реализм, разночинцы, автобиография, псевдоавтобиография

Keywords: realism, raznochinty, autobiography, pseudo-autobiography

УДК: 821.161.1+82-94
DOI: 10.53953/08696365_2023_182_4_138

UDC: 821.161.1+82-94
DOI: 10.53953/08696365_2023_182_4_138

В статье рассматриваются рассказы о взрослении в малой прозе писателей-разночинцев Н.Г. Помяловского, Ф.М. Решетникова, А.И. Левитова и Н.В. Успенского. Автор статьи демонстрирует, что такие истории способствовали самопрезентации писателей и легитимации себя как авторов. Сравнивая нарративы о взрослении с автобиографической трилогией Л.Н. Толстого, автор также доказывает, что, создавая такого типа рассказы, авторы-разночинцы реализовали себя как социальный тип. Он определялся через способность понять и объяснить российскую действительность, что трактовалось как социальная «полезность». В то же время в этих произведениях обнаруживается потеря веры в способности литературы придать стратифицированному обществу чувство единства и связности.

This article outlines the standard coming-of-age narrative that appears across short works by the *raznochinty* writers Nikolai Pomialovsky, Fedor Reshetnikov, Alexander Levitov, and Nikolai Uspensky. It shows how these writers grounded their literary legitimacy in their shared experiences. Placing their work in conversation with Lev Tolstoy's autobiographically-based coming-of-age trilogy, the article proposes that these authors invented themselves as a social type defined by the capacity to comprehend the expansive reality of Russian life as a form of social "usefulness." At the same time, their writings reveal an eventual loss of faith in the potential for literary narrative to give coherence to a stratified social body.

Гуляя в одиночестве по бескрайним малонаселенным среднерусским равнинам, безымянный рассказчик «Степной дороги днем» («Зритель», 1862) Александра Левитова (1835—1877) сталкивается с молодым человеком Теокритовым, который с таким же успехом мог бы быть его более юным alter ego. Теокритов направляется в Москву искать счастья, а рассказчик возвращается оттуда. Оба легко узнают друг в друге представителей одного сословия — сыновей священников. Молодой человек говорит рассказчику: «Мой пеший образ путешествия и моя фамилия, конечно, сказали вам все об моем звании и состоянии»¹. На

1 Левитов А.И. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 1. СПб.: Изд. Н.Ф. Мерца, 1905. С. 246. Фамилии священнослужителей, многие из которых были искусственно созданы в конце XVIII века начальством духовных школ и семинарий или самими учащимися,

протяжении всего разговора оба персонажа кажутся зеркальными отражениями друг друга как на уровне особенностей поведения, так и на уровне деталей биографии: каждый отмечает отсутствие у собеседника приличий и повторяет обоюдные извинения за чрезмерную откровенность. Разница между ними только в том, что рассказчик имеет опыт столичной жизни, а Теокритов — нет, но это различие существенно. Это делает одного рассказчиком, а другого — объектом повествования. В предлагаемой читателям статье ставится вопрос об особом литературном авторитете, которым наделен как левитовский рассказчик, так и другие рассказчики подобных историй благодаря специфическому сочетанию жизненных обстоятельств: провинциал недворянского происхождения порывает со своим прошлым, чтобы окунуться в новую столичную жизнь, но возвращается обратно, дабы поведать о ней широкой читательской аудитории.

Рассказчик и Теокритов наделены чертами биографии самого Левитова: он был сыном сельского церковного пономаря Тамбовской губернии, в 1854 году прошел пешком 470 с лишним километров в Москву из Тамбова в надежде получить светское образование [Чанцев 1994: 304–305]. Судя по встрече рассказчика «Степной дороги днем» с Теокритовым, история Левитова была типичной. На самом деле, подобные истории вошли в канон биографий литераторов разночинного происхождения: писатели Михаил Воронов (1840–1873) и Николай Успенский (1837–1889) также пробирались пешком искать счастья в столице [Троицкий 1989: 487; Чуковский 1933а: 20]. Этот обряд «перехода» уже существовал в культурной мифологии в виде популярной истории о Михайле Ломоносове. Хотя эта история и апокрифична, она удачно подчеркивает уникальную страсть этого молодого человека низкого происхождения к знаниям [Reyfnan 1990: 6–7]. Левитов, Воронов и Успенский вместе с Николаем Помяловским (1835–1863), Николаем Благовещенским (1837–1889), Федором Решетниковым (1841–1871) и другими коллективно реализовали аналогичный, но новый миф. Эти писатели составляют когорту выходцев из семейств священников и мелкой провинциальной бюрократии — разночинцев, влившихся в литературную среду в середине XIX века. Каждый из них добрался до столиц в конце 1850-х — начале 1860-х годов и зарабатывал на жизнь написанием статей в основном для журналов «радикального направления», включая «Современник» и «Русское слово», а позднее — «Отечественных записок» и «Дела»². Все писали тексты, изображающие молодых людей неблагородного происхождения, чьи истории отражают некоторые стороны их собственных биографий.

Эти произведения в совокупности позволяют понять специфический авторский идеал разночинцев, отличный от идеала более авторитетных писателей той эпохи и тем более предшествующих десятилетий, — вместо провидческого гения поэта-романтика или синтетического гения автора реалистических романов идеалом для разночинцев выступает, пользуясь их выражением, «полезный» деятель. Вопреки тому, как обычно трактуется литература, связанная

распадаются на небольшое количество узнаваемых словообразовательных типов [Manchester 2011: 12].

2 В отличие от других писателей, перечисленных здесь, Левитов никогда не был постоянным автором журналов Некрасова, но его тесная связь с писателями того же происхождения и сосредоточенность на их изображении в литературе однозначно позволяют рассматривать его творчество в рамках этого исследования.

с радикальными редакторами «Современника» Николаем Добролюбовым и Николаем Чернышевским, в моей статье утилитарная и эстетическая ценности не рассматриваются как противопоставленные. Разночинская погоня за «полезностью» понимается как эстетический принцип, существовавший наряду с другими типичными для того времени подходами к роли автора и его отношениям с аудиторией и материалом. Сформировавшийся с ориентацией на «полезность» разночинец-литератор не выглядит уникальным, неординарным или же поразительным — напротив, его значение заключается в его обыкновенности. Он должен быть знаком и понятен читателям одинакового с ним социального происхождения, тем самым открывая им возможность влиться в ряды авторов за счет собственного литературного труда. Предлагаемая статья исследует, как эти автобиографические нарративы способствовали тому, чтобы сделать социальные группы, из которых произошли их авторы, культурно заметными и одновременно создать для самих писателей определенные позиции в литературном поле.

Особое значение творчества Левитова и его поколения — тех, кого можно было бы назвать «второй волной» литературных разночинцев, — часто оказывается в тени более известных разночинцев Чернышевского, Добролюбова, а также дворянина Дмитрия Писарева — известных редакторов и критиков, публиковавших и рецензировавших их сочинения [Печерская 2020]. Хотя Чернышевский и Добролюбов способствовали карьере последующего поколения разночинских писателей, его вклад в литературную культуру особый. Литераторов этой группы легко отличить по общим биографическим элементам: все они родились между 1835 и 1841 годами; как отмечает Т.И. Печерская, их объединяли бедность и алкоголизм; они писали, чтобы прокормить себя, и никогда полностью не интегрировались в литературное сообщество — отчасти из-за материальной нужды и беспорядка, преобладавших в личной жизни. Общая неприязнь к редакторам, считавшимся хозяевами-эксплуататорами, способствовала их маргинальности, и поэтому они оставались на обочине литературной жизни своего времени [Там же: 268—269]. Писатели-разночинцы понимали себя и воспринимались другими как обладающие привилегией писать о самых разных сферах современной жизни в силу своего низкого происхождения. Решетников, Левитов, Николай Успенский, Воронов, Благовещенский и Помяловский происходили из семей разного положения: Решетников, например, вырос в настоящей нищете, а Помяловский и Левитов — в относительно благополучных семьях священников. Ни один из них не был крестьянином, но, независимо от того, правильно ли считать их «народными», они, в отличие от многих коллег по писательскому цеху, не могли похвастаться благородным происхождением, и это различие определяло их творчество и авторскую идентичность³. Роль и значение недворянской молодежи, в особенности сыновей священников, в российской интеллектуальной сфере середины XIX века уже исследовалось: монография Лори Манчестер о поповичах дает исчерпывающее представление о том, как отпрыски духовного сословия составляли отдельную группу внутри интеллигенции XIX века [Manchester 2011]; другие обсуждали культурную и интеллектуальную значимость радикальных разночинцев для 1860-х годов [Вердевальская 1975; Дячук 2010; Живов 1999; Печерская 2018; 2020; Glickman 1967;

3 О детстве Решетникова см.: [Векслер 1948]; о Помяловском: [Благовещенский 1935]; о Левитове: [Никольский 1905].

1974; Rareto 1988]. Опираясь на эти исследования, я фокусирую внимание на автобиографических текстах второго поколения разночинских писателей, чтобы осмыслить, как они вписались в литературу и культуру своего времени.

Далее я обрисую, как в рассказах такого типа создается стандартный нарратив с повторяющимися элементами, благодаря которому писатели-разночинцы становятся узнаваемой социальной группой и обретают коллективную культурную значимость. Такой нарратив определяет автора-разночинца как человека, чья жизнь была сформирована описанным им социальным неравенством, но который тем не менее стал причастен высокой культуре как представитель интеллигенции — читатель Гоголя и Белинского. Задача этого нарратива — утвердить способность автора писать не только о себе и людях из своего окружения, но и обо всех остальных. Работая с основными элементами стандартного повествования, я буду рассматривать эти истории как примеры того, что Эндрю Вахтель называет «псевдоавтобиографией» на материале произведений Л.Н. Толстого «Детство» («Современник», 1852), «Отрочество» («Современник», 1854) и «Юность» («Современник», 1857). Вахтель утверждает, что Толстой представляет дворянское детство как модель русского детства *per se* и тем самым обосновывает культурную значимость и наследие дворянского сословия. Я полагаю, что разночинцы аналогичным образом создают нарратив о взрослении, который позволяет писателям из этой социальной группы занять позицию авторов «полезной» литературы, делающих более широкие слои населения видимыми и понятными для читающей публики. По сравнению со свободно блуждающим проницательным рассказчиком Толстого, разночинцы представляют социологически конкретную точку зрения, которая не может восприниматься как автономная от внешних обстоятельств и при этом способна отображать ту среду, которая ее сформировала.

Стандартный разночинский нарратив в конечном счете не в меньшей степени раскрывает несостоятельность идеалов, лежащих в основе авторской точки зрения, и самой их артикуляции: в заключительном разделе статьи представлены примеры историй, в которых тщательно выстроенная разночинская нарративная точка зрения подвергается слоу. Трагический парадокс разночинских писателей заключается в том, что хотя их литературный труд и нужен обществу, материально он не обеспечивает их жизнь. Этот парадокс, однако, может оказаться полезным в том смысле, что в нем проявляется проблема социальных структур того времени, неспособных обеспечить труд, обрисовывающий те элементы, из которых состояло общество. Как я продемонстрирую, самоописания разночинцев не только конструировали своих авторов как социальный тип, определяемый способностью осмысливать бурную реальность русской жизни, но и подрывали лежавшее в основе их успеха допущение, что точное воспроизведение действительности в литературе может придать целостность расслоенному социальному телу.

I. Становление разночинца-автора

Элитарный мир дворянской усадьбы доминирует в литературном пространстве русского романа середины XIX века. Однако в литературной критике 1860—1870-х годов постоянно обсуждался тот факт, что эти романы не слишком далеко продвинулись в репрезентации подавляющего большинства насе-

ления Российской империи. Достоевский, например, как известно, обвинил Толстого в создании «помещичьей литературы» и предпринял альтернативную попытку представить героя неблагородного происхождения в «Подростке»⁴. Аркадий Долгорукий — биологический посредник между дворянином-отцом и крестьянкой-матерью. Его личность аллегорически олицетворяет примирение разобщенных социальных слоев, которое, по выражению Достоевского, есть и примирение западноевропейской и русской культур (см.: [Steiner 2011: 165]). Левитов и его коллеги рассказывают разные истории о «недворянах», занимающих свое место в современной социальной реальности: они повествуют о разрыве с прошлым и о поиске нейтральной идентичности, которая в одно и то же время не отрывается от корней и поддается изменениям. Такая идентичность позволяет возникнуть точке зрения, с которой можно наблюдать и документировать жизнь других. В отличие от Достоевского, разночинцы не проблематизируют контраст западной и русской культур, а позиционируют свой переход между двумя мирами — провинцией и городским центром — как уникальную возможность описать ту среду, из которой они пришли к космополитичной читательской аудитории.

Главные герои их рассказов не совсем романские. Разночинские автофикциональные повествования рассредоточены по произведениям, которые представляют собой в основном рассказы и очерки (за некоторыми более объемными исключениями, имеющими общие сюжетные узлы). Один сын священника не сильно отличается от другого, а скорее определяется как социологический тип в традиции физиологического очерка. С 1840-х годов очерк служил кратким, прямым и точным объяснением социальных фактов [Вагг 2014]. Если эмпирическую ориентацию очерка на поиск определений и категоризацию поддерживают наблюдаемые факты, то в автобиографических нарративах разночинцев аналитический взгляд рассказчика отгалкивается от определенного социологического фона и от личных переживаний. Другими словами, в очерках, которые будут обсуждаться ниже, объективность зиждется на «реальной» предыстории.

Во всех этих текстах есть три центральных элемента стандартного разночинского нарратива: пробуждение желания участвовать в жизни большого мира под воздействием чтения и наблюдения за окружающей жизнью; отъезд из дома в столицу, чтобы стать «полезным»; обнищание и разочарование в столице, за которыми часто следует смерть. В большинстве очерков изображаются лишь отдельные элементы, возникающие в стандартном нарративе раньше или позже, а законченное повествование складывается, только когда эпизоды соотносятся друг с другом. В совокупности факты общественной жизни, представленные в этих очерках, объясняют способность их нарраторов конвертировать свой опыт и наблюдения в рассказываемые ими истории.

Элемент первый: выжить в семинарии

Хотя не все писатели-разночинцы были сыновьями священников, общий нарратив взросления, развиваемый в их произведениях, сформирован прежде

4 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 2. Л.: Наука, 1986. С. 216. О «Подростке» в контексте конкуренции Достоевского с Толстым см.: [Holland 2013: 116].

всего опытом поповичей⁵. В «Очерках бурсы» Помяловского («Современник» и «Время», 1862—1863) парадигматическое описание семинарского образования представлено как череда испытаний, в которых выковывается разночинское авторское сознание. «Очерки бурсы» давали одно из немногих подробных литературных изображений мира среднего образования для поповских сыновей и вызвали большой резонанс (см.: [Сажин 1989]).

Важнейшим аспектом «Очерков» для стандартного нарратива разночинцев является описание Помяловским формирования критического сознания в противовес зубрежке и конформизму, привитым семинарским образованием. В четвертом очерке «Бегуны и спасенные бурсы» («Современник», 1863) Помяловский знакомит читателя с автобиографическим образом Караса, интеллектуальное становление которого подробно описано⁶. Суть очерка заключается в том, как строгий режим в семинарии непреднамеренно и по иронии судьбы порождает поколение атеистов. Помяловский описывает этот процесс на примере Караса:

Тогда он стал следить и изучать каждый урок, как злейшего своего врага, который без его воли владел его мозгами, и постепенно, с каждым днем, открывал в учебниках множество чепухи и безобразия; это развило в нем анализ и критицизм, и впоследствии, отвечая бойко урок, он в то же время думал про себя: «этакую, святые отцы, я дичь несущу»⁷.

Карась уникален по объему уделяемого ему психологического внимания, но опыт выработки критического мировоззрения в противовес доктринальному воспитанию вообще характерен для очерков Помяловского.

Очерки рассказываются с отстраненной, этнографической точки зрения, но в то же время становится ясно, что рассказчик сам прошел через бурсу. Описывая формирование светского мировоззрения в семинарии, повествование Помяловского также укрепляет силу особой точки зрения повествователя и, таким образом, собственной авторской точки зрения Помяловского, основанной на его опыте бывшего семинариста, отвергнувшего все, чему его там учили. В этом отношении «Очерки» можно продуктивно сравнить с «Записками из Мертвого дома» Достоевского («Время», 1860—1862), что уже было подчеркнуто современниками Помяловского, в том числе Благовещенским [Благовещенский 1935: XVII] и Писаревым (см.: [Manchester 2011: 124]). Как и Достоевский, Помяловский акцентирует внимание на телесных наказаниях, и за счет этого оба текста создают для своих авторов особый литературный авторитет. В период реформ телесные наказания вызывали отвращение у образованных читателей; их устранение из современного общества было целью, тесно связанной с отменой крепостного права⁸. После публикации «Записок» Дос-

5 Помяловский, Успенский, Благовещенский и Левитов были сыновьями священников. Отец Воронова был штабс-ротмистром — воинским чином десятого класса по табели о рангах, а по происхождению крестьянином [Троицкий 1989: 487]. Решетников осиротел и воспитывался дядей-почтальоном [Векслер 1948; Дергачев 1958].

6 Караса, как почти всех семинаристов, называют не по имени, а по прозвищу.

7 Помяловский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 2 т. / Под ред. И.Г. Ямпольского. Т. 2. М.; Л.: Academia, 1935. С. 123.

8 Кевин М.Ф. Платт отмечает, что в начале 1860-х годов произвольные телесные наказания были символом самых ненавистных аспектов дореформенной эпохи [Platt 1997: 78—80]. О реформе пенитенциарной системы в контексте Великих реформ см. также: [Schrader 2002: 144—183].

товеский снискал уважение публики за правдивое изображение жестокости, а критические отклики о его книге также были наполнены негативными характеристиками розог и экзекуций⁹. Точно так же Помяловский считался (по крайней мере, среди его товарищей-разночинцев) храбрым свидетелем несправедливости. Однако если Достоевский был аутсайдером, описывающим мир, который мало кто из его класса когда-либо видел, Помяловский перенес на бумагу опыт вхождения во взрослую жизнь каждого молодого человека его социального положения. Прохождение семинарии было и необыкновенным (для читателей не из поповичей) — и совершенно обыденным, так как это был общий опыт целого сословия¹⁰.

Таким образом, «Очерки бурсы» имели двойное назначение и аудиторию. В то время как сам Благовещенский умолял Помяловского написать о семинарии, чтобы разоблачить ее несправедливости, и просил его «выставить на суд общественный наш бурсу», по размышлении он пришел к выводу, что произведение Помяловского было прежде всего важно, потому что оно позволяло читателям общего с автором происхождения впервые пережить опыт узнавания себя и своего школьного прошлого в художественном тексте [Благовещенский 1935: XXX]. Более того, авторитет отстраненного, но прекрасно осведомленного рассказчика очерков, который приобрел Помяловский, мог присвоить и разделить всякий, узнавший в них себя. Свидетельством работоспособности этого механизма идентификации стала канонизация книги Помяловского, задавшего целую литературную традицию. Хотя в XIX веке есть ряд изображений студенчества, в частности семинарского образования, внимание Помяловского к механическому, бездумному обучению и произвольному наказанию определило темы, характерные для повествования о взрослении, сложившиеся внутри радикальной традиции (см.: [Flath 1990; Manchester 2011: 123—127]). Элементы очерков Помяловского можно узнать в более поздних рассказах о бурсе, таких как «Петербургский случай» Левитова («Дело», 1869), незаконченный роман Николая Благовещенского «Перед рассветом» («Русское слово», 1865—1866) и повесть Решетникова «Между людьми» («Русское слово» и «Современник», 1864—1865).

Элемент второй: разрыв с домом и с прошлым

После того как критическое сознание юноши формируется в оппозиции к семинарскому воспитанию, у него возникает желание вырваться из родной среды, чтобы начать новую, городскую, светскую жизнь. Этому опыту посвящена повесть Решетникова «Между людьми» о молодом человеке, который переезжает в Петербург с Урала, чтобы стать писателем, но умирает в нищете. Дру-

9 С точки зрения дворян, освобожденных от телесных наказаний, между обнаружением несправедливости и телесным наказанием была принципиальная разница. Хотя Достоевский на каторге, скорее всего, не подвергся экзекуции, слухи об этом ходили и некоторые считали его обесчещенным [Громыко 1985: 41—51]. О порке и бесчестии среди дворян см.: [Reufman 1999: 110—125].

10 См. [Freeze 1983: 136] о наследственном сословном статусе духовенства и организации религиозного образования. Л. Манчестер пишет об уникальном значении «Очерков» Помяловского для бывших семинаристов [Manchester 2011: 124—126] и о том, как реальная семинария соотносится с описанной Помяловским [Ibid.: 129—135].

гой пример — повесть Левитова «Лирические воспоминания Ивана Сизова» («Северная пчела», 1863), а также «Перед рассветом» Благовещенского. В последней главный герой Трепетов должен разочаровать мать и отца и бросить невесту, разорвав все личные узы, которые до этого момента составляли его жизнь. Трепетов должен пройти через этот решительный разрыв, чтобы действовать в соответствии со своим желанием стать «полезным».

Желание быть «полезным» — вот что гонит молодых людей из дома в столицы. «Полезность» в этих рассказах может быть достигнута через светское образование, которое сделает возможным самоотверженный интеллектуальный труд. В «Перед рассветом» интеллектуальный проводник Трепетова Березин поручает ему изучать европейские языки и написанные на них работы, а также Гоголя и Белинского, чтобы иметь возможность диагностировать социальные проблемы России и стать «полезным»¹¹. В «Между людьми» Решетников определяет литературную деятельность как «полезную» и по этому критерию противопоставляет работу литератора труду переписчика. Перед тем как рассказчик Кузьмин переезжает в Петербург, он обсуждает свое стремление стать писателем с приезжим ревизором в конторе, где он работает. Кузьмин говорит ревизору: «Перепиской я никому не принесу пользы». Ревизор отвечает: «Врете, отечеству принесете пользу». Кузьмин парирует: «Себе я приношу только пользу, — ту, что я получаю жалованье как переписчик; а переписываю я не отечеству, а людям обыкновенным, как и я»¹². Письмо полезно только тогда, когда оригинально, а не когда приносит выгоду. Но «полезность» не только мотивирует, но и оправдывает разрыв начинающего автора с семьей и домом. В «Лирических воспоминаниях Ивана Сизова» Левитова рассказчик Сизов утешает оставленную им сестру, обещая, что уезжает с единственной целью — поделиться историей их страданий в бедном провинциальном доме: «Всегда только одно и буду я делать, что везде и всегда говорить о наших развалившихся избах, о горе, которое безысходно живет в них»¹³. Поскольку для персонажей писать о том, откуда они вышли, означает заниматься самым полезным трудом, существование очерков, в которых выведены они сами, знаменует собой осуществление стремления к «полезности».

Иван Сизов Левитова описывает отъезд молодых разночинцев из провинции как поколенческое явление, мотивированное чтением современной русской литературы: «От грома уст Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Белинского сразу, без необходимых потяжек и зевоты, глушь встала на ноги и пошла»¹⁴. В «Детстве» Воронова («Время», 1862) рассказчик еще драматичнее уподобляет свое освобождение из дома и семьи выходу из рабства:

Я, как невольник южных штатов, счастливо достигший свободных северных, готов был даже целовать эту землю, на которой мне впервые суждено будет почувствовать себя лицом свободным и независимым больше от убивающего до сих пор меня гимназического и домашнего деспотизма¹⁵.

11 Благовещенский Н.А. Перед рассветом. Роман // Русское слово. 1865. № 1. Отд. I. С. 61—62.

12 Решетников Ф.М. Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под ред. И.И. Векслера. Т. 2. Свердловск: Свердловгиз, 1937. С. 124—125.

13 Левитов А.И. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1988. С. 233.

14 Там же. С. 229.

15 Воронов М.А. Повести и рассказы. М.: ГИХЛ, 1961. С. 100.

Как «Очерки бурсы» Помяловского связывают трудности автора в семинарии с современным дискурсом о телесных наказаниях, так и Воронов характеризует свое бедственное положение, опираясь на риторику эпохи реформ вокруг отмены рабства как в России, так и в США.

С призывом к конфликту поколений, который увязывает развитие светского мировоззрения с личным освобождением и возможностью более широкого социального прогресса, разрыв молодых разночинцев с домашней средой описывается как акт, способствующий наступлению новой эры и возникновению нового социального тела. Эти процессы становятся заметны благодаря специфическому разночинному сознанию и описываются в творчестве разночинца. Способность такого литератора описывать порабощение и эксплуатацию в Российской империи с точки зрения того, кто сам поработен и эксплуатируем, но тем не менее является полноценным участником современной интеллектуальной жизни, не просто предлагает заглянуть в ранее закрытые провинциальные миры, но и обещает появление нации граждан, способных артикулировать условия своего существования.

Элемент третий: разочарование в городе и в литературе

Пьянящий оптимизм, который движет отъездом молодых разночинцев из дома, быстро растворяется перед лицом московских и петербургских финансовых реалий. Такие рассказы, как «Студент» («Искра», 1862) и «Брусиллов» («Современник», 1860) Николая Успенского, а также его же сатирическая пьеса «Литературный омут» (1867, опубликована в 1872), повесть Левитова о юноше, страдающем туберкулезом и белой горячкой, «Говорящая обезьяна» (написана в 1874 году, опубликована посмертно в 1879) и «Между людьми» Решетникова, подробно описывают борьбу за выживание бедных юношей в городе. Большинство из них заканчивается смертью главного героя. Игнорирование практических соображений, необходимое для того чтобы покинуть дом и переехать в город, в конечном счете приводит к разорению, когда молодые люди оказываются без поддержки и гроша в кармане.

Левитов, в частности, снова и снова изображает этот опыт. Разочарованный рассказчик «Степной дороги днем» потерял надежду на хорошую жизнь в Москве, но он в лучшем положении, чем другие герои Левитова. В «Говорящей обезьяне» пьяный и бредящий молодой человек находится с семьей дома, в провинции, уже слишком больной чахоткой, чтобы продолжать жизнь в Петербурге¹⁶. В «Лирических воспоминаниях» Сизов размышляет об изображении таких же юношей, как он сам, в современной литературе. Он описывает, как молодой «Дмитрий, примерно Богоблагодатов или Николай Сомов», живет на чердаке и учится, зарабатывая на скудное существование репетиторством или трудом переписчика. Но даже этот скромный способ выживания на самом деле является несбыточной фантазией: «Но пусть будет я проклят, если в таких живописях хоть тень жизненной правды!»¹⁷

Кузьмин, рассказчик решетниковской повести «Между людьми», как и Сизов, приезжает в город из провинции, чтобы найти тех, кто мог бы понять

16 Левитов А.И. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 4. СПб.: Изд. Н.Ф. Мерца, 1905. С. 247.

17 Там же. С. 242.

его стремление к интеллектуальной жизни. Ему удается опубликовать пару очерков, но он испытывает трудности с получением гонорара. В конце концов он теряет работу, его выгоняют из квартиры, он теряет все свои вещи и становится уличным продавцом обуви. В последней дневниковой записи он предстает умирающим в больнице и ругает себя за то, что вообразил, будто может участвовать в жизни общества и даже вносить в нее свою лепту:

Умирай, Кузьмин, умирай, тварь земная, ничтожное творение природы, и теперь, перед смертью, сознайся, что ты только лягушка, хотящая быть волком. Ну к чему ты стремился? чего ты желал? чего ты достиг? Ничего, кроме того, что ты скорее умрешь. Кому ты принес пользу?..¹⁸

В этих нарративах уход из дома провоцируется рожденным в семинарии или гимназии идеализмом, который побуждает молодых людей вступить на стезю «полезного» участия в интеллектуальной жизни столиц. Однако, оказавшись в столицах, эти персонажи, не сумев найти нового устойчивого профессионального или интеллектуального сообщества, угнетаемы материальными заботами.

Решетникова, Помяловского, Левитова и Николая Успенского объединяла острая нужда, слабое здоровье и алкогольная зависимость, от которых страдали многие их персонажи. Архивы каждого из них наполнены письмами к редакторам с просьбами о выплате долга или об авансе за статьи, которые еще предстоит написать¹⁹. Пьеса Николая Успенского «Литературный омут» показывает, насколько негативными могли стать отношения авторов с литературным истеблишментом: персонаж Шильников, прототипом которого был Некрасов, описывается как лицемерный капиталист, выдающий себя за друга народа, но пьющий кровь писателей, которых эксплуатирует («Поексплуатировали нас довольно! Один Шильников сколько крови выпил»²⁰). Представленный в пьесе коллектив литераторов, страдающих от рук бесчувственных хозяев, почти напоминает семинарию: писатели попали в новую версию ада, из которого с таким трудом выбирались²¹.

Но разочарование в городе вообще и в литературной профессии в частности в конечном счете способствует авторской легитимации: разночинцы определяют себя через оппозицию к своим литературным «хозяевам». В соединении разочарования и смерти, изображенных в этих нарративах, и реального разочарования и обнищания, переживаемого самими писателями на литературном поприще, надклассовое желание быть «полезным», толкающее разно-

18 Решетников Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 181.

19 Письма Н.В. Успенского см.: [Чуковский 1934: 273—295]; Решетникова: Решетников Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 347—361; Помяловского: Помяловский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 270—279. В 1864 году Левитов обратился за помощью к Обществу для пособия нуждающимся литераторам и ученым, поскольку не мог работать из-за продолжительной болезни (Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 591. Оп. 1. № 24).

20 Успенский Н.В. Соч. Повести, рассказы и очерки: В 3 т. Т. 3. М.: Д.И. Преснов, 1876. С. 177.

21 Важно отметить, что на основании этой пьесы нельзя судить о реальных отношениях Успенского (или других писателей) с Некрасовым. Как ученые уже показали, Успенский был обижен на Некрасова и стремился очернить его (см.: [Зубков 2019; Чуковский 1933б]). Мы здесь понимаем пьесу не как документально точное описание действительности, а как полемическое изображение отношений между писателями и редакторами.

чинцев к уходу из дома, сочетается со специфическим социальным опытом, который наделяет их правом рассказывать именно такие истории, а также побуждает их представлять свою идентичность с точки зрения классового конфликта внутри литературной профессии. Именно в этом аспекте повествования проявляется особая специфика разночинцев. И освобожденные, и освободители, разночинцы изображают самих себя (а не своих редакторов Некрасова или Михаила Салтыкова-Щедрина, и уж тем более не «литературных генералов» Толстого или Тургенева) в качестве необходимых голосов новой эпохи, свидетельствующих о ее несомненном начале.

II. Псевдоавтобиография: индивидуальность, класс, универсальность

Сочетание социальной исключительности и всеобщей доступности, характерное для нарративной перспективы разночинца, можно описать в сравнении с автобиографическим письмом Толстого. Истории, составляющие стандартный нарратив разночинца, привязывают точку зрения рассказчика к определенному месту в культуре и обществе и претендуют на категоризирующий, производящий знание взгляд, доступный людям того же происхождения при условии, если они порвали со своим прошлым. По наблюдениям Эндрю Вахтеля, Толстой аналогичным образом связывает детские переживания дворянина со способностью рассказать универсально значимую историю.

Термин «псевдоавтобиография», использованный Вахтелем для описания толстовской трилогии, обозначает режим повествования, который является одновременно подчеркнуто вымышленным и, что немаловажно, отождествляется с автором [Wachtel 1990: 3]. В повествовании Толстого очевидны три различные перспективы: точка зрения автора, точка зрения рассказчика и точка зрения прошлого «я» самого рассказчика. Рассказчик и прошлое «я» рассказчика связаны во времени (одно перерастает в другое), в то время как рассказчик — это беллетризованная личность автора. В тексте также прослеживается четкая авторская точка зрения. «Очерки бursы» Помяловского, как и «Детство» Толстого, представляют собой историю взросления, обосновывающую легитимность и важность голоса рассказчика. Повести Толстого имплицитно утверждают, что содержащиеся в них переживания составляют жизнь, достойную рассказа, и создают субъект, способный рассказать об этой жизни. У Помяловского, как и в трилогии Толстого, очерки рассказываются голосом, который понимается как продукт описываемых событий и социального мира, тем самым представляя этот мир как достойный описания и в то же время способный создать авторскую субъективность. Но в отличие от «Детства», рассказчик «Очерков бursы» не выступает как действующее «я» в рассказываемых им историях. Рассказать эти истории мог бы любой из бурсаков, которые нашли свой путь к разумному, материалистическому атеизму, как это сделал рассказчик Помяловского, но не способен человек, не прошедший через бурсу.

Повествовательный взгляд, конструируемый в «Очерках бursы», категоричен и определяется коллективным опытом, но уникален, недоступен для тех, у кого такого опыта нет. Напротив, у Толстого повествование абсолютно индивидуально и в то же время подано как универсальное. Вахтель отмечает, что в «Детстве» Толстой иногда подчеркивает, что его рассказчик Иртенев

пишет о своем собственном, совершенно особенном детстве, а иногда прибегает к универсализирующему «абсолютному языку», который сыграет столь важную роль в установлении повествовательной перспективы произведения, подобного «Анне Карениной». Эта стратегия позволяет тексту быть одновременно частным и общим, так что «автобиограф Иртеньев», внутренний по отношению к повестям, «рассказывает о переживаниях, относящихся к нему и к нему одному», но в то же время «кажется, будто бы детство Иртеньева могло принадлежать кому угодно» [Ibid.: 9]. Вахтель утверждает, что эти универсализирующие моменты подчеркивают тот факт, что Толстой изображает не только детство одного человека, но и русское детство как таковое.

Универсализируя дворянское детство и осознавая его как ценный культурный опыт, Толстой связывает дворянскую идентичность с личностью литературного повествователя, чтобы оправдать культурное господство своего сословия:

Поскольку дворянам приходилось защищать свои позиции в российском обществе, постольку исключительно важно для них стало защищать ценности, которыми не-дворяне не обладали. Благородное детство, которое, согласно толстовскому и аксаковскому мифам, наделяло человека определенными позитивными качествами, которые сохранялись на всю жизнь, стало именно такой собственностью дворянства [Ibid.: 85].

Классовая функция текстов Толстого связывает их со стандартным разночинским нарративом, но с важным отличием. Тексты разночинцев, которые можно охарактеризовать в терминах Вахтеля как псевдоавтобиографические, развивают повествовательный голос, передающий ценную информацию постольку, поскольку он способен воспринимать и классифицировать людей и поведение, которые были бы непонятны постороннему. Таким образом, авторский взгляд в этих текстах не является универсально значимым — разночинская нарративная перспектива и переживания, ведущие к ее формированию, кажутся не «принадлежащими кому угодно», а скорее специфически доступными людям определенного социального происхождения.

В разночинских нарративах мы находим не уникального индивидуума, чей опыт универсализирован, а выражение групповой нарративной точки зрения, опирающейся на общие для представителей этой группы знания. «Степная дорога днем» Левитова содержит характерное для трилогии Толстого трехголосое повествование, но третья точка зрения — прошлое «я» вымышленного рассказчика — передается отдельному персонажу и выступает в лице Теокритова, которого рассказчик встречает в дороге. Теокритов одновременно неотличим от рассказчика и принципиально отделен от него, потому что не совсем ясно, что он наконец уйдет из дома и созреет для роли нарратора. Таким образом, повествование рассказывает не одну историю жизни, а сразу несколько. В то же время повесть отделяет автора-разночинца от молодого поповского сына, который так и не успевает уйти из дома. Способность автора рассказать истории Теокритова и других стала возможной благодаря его полному жизнеописанию — и детству в степи, и отъезду из дома.

Подобно Толстому, разночинцы разрабатывают фигуру псевдоавтобиографического повествователя, одновременно частного и индивидуального, связанного с их реальной биографией, и общего, характеризующегося категориальными качествами их поколения и происхождения. Как и в толстовской трилогии, эта общность связана с классовой спецификой, и повествование выпол-

няет определенную функцию по отношению к этому классу: оно представляет разночинцев-реалистов как единственную группу, обладающую способностью понимать различные социальные сферы благодаря их непосредственному, но общему опыту. Разночинские нарративы представляют собой развитие этой повествовательной субъективности и, таким образом, свидетельствуют о способности своих авторов быть полноценными авторами. Но вместо того чтобы предложить слияние индивидуальности и всеобщности, которая делает толстовское «Детство» образцом для русского детства в целом, несмотря на его классовую специфику, разночинское повествование артикулирует социально значимую нарративную позицию, которую могут занять только юноши, прошедшие через общие этапы формирующего их личность опыта.

В отличие от дворянских рассказчиков вроде толстовского Иртеньева или, например, бесстрашного охотника-рассказчика Тургенева, разночинцы изображают социальный мир с такой точки зрения, которая зависима от этого мира. Изобретение Толстым дворянского детства как предыстории всеведущего романного повествования представляет автономный взгляд, обещающий постижение социальной тотальности. Рассказы разночинцев в этом контексте содержат имплицитную критику такого повествования: они предполагают, что толстовская тотальность может быть только иллюзорной. Их статус как людей, которые прошли через репрессивные социальные структуры, чтобы писать о них, обосновывает их точку зрения и ее предполагаемую подлинность, но (что более существенно) обещает новый вид литературного знания, происходящего изнутри социального тела, а не извне его.

III. Размывание границ восприятия

Авторская идентичность, складывающаяся в нарративах о взрослении разночинцев, не только артикулирует социальную позицию и роль юношей неблагородного происхождения, но и возлагает на них тяжелое бремя. С одной стороны, как свидетельствуют такие рассказы, как «Лирические воспоминания Ивана Сизова» или «Между людьми», жизнь писателя была материально трудной. Но еще более страшная картина складывается в нескольких текстах конца 1860-х годов, где нисходящая спираль нищеты и разочарования завершается пьяным бредом и не только материальной борьбой, но и утратой достоверной повествовательной точки зрения, которую разночинское повествование стремится представить. В этих галлюцинаторных текстах распад субъекта происходит на пределе объективного наблюдения.

В качестве примера можно привести наброски к задуманному, но так и не законченному роману Левитова «Сны и факты», в котором намечается сюжет о том, как столкновение главного героя с мрачной действительностью в последние минуты перед забытием подталкивает его к мечтам о необыкновенной гармонии человеческой жизни²². Не подозревая о своей деградации, он уми-

22 Свои планы на роман Левитов изложил в письме М.М. Стасюлевичу от 13 октября 1870 года (М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке: В 5 т. Т. 5. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1913. С. 250—252). Единственная сохранившаяся и опубликованная часть романа («Говорящая обезьяна») появилась посмертно в 1879 году в журнале «Свет».

рает на обочине дороги на глазах у прохожих. В «Петербургском случае» Левитова (1869) главный герой пересматривает свое прошлое, в результате чего его авторское «я» — которое производится стандартным разночинским нарративом, — дробится на бессвязные части. «Трудно верить» Решетникова доводит объективные наблюдения до такой степени, что невозможно определить, что реально, а что иллюзия²³. Будучи нарративами о потере надежного восприятия, разума и памяти (то есть о распаде целостной субъективности), эти истории предполагают, что прежде чем честолюбивый разночинец-интеллектуал умрет в нищете, его собственный разум будет разрушен полезной работой, которой он посвятил себя.

В «Трудно верить» автор пытается трансформировать собственный мучительный опыт белой горячки в вымышленный нарратив, тем самым нарушая связь между человеческим восприятием и объективной истиной. Текст представляет собой замечательный эксперимент по документированию собственного психологического распада. В нем рассказывается о растущей паранойе крайне нуждающегося писателя Ляшкина, когда он прислушивается к шепоту своих соседей в тонкостенной петербургской квартире и верит, что слышит, как они оскорбляют его и его жену все более пугающим образом. Когда соседи начинают болтать о том, что он обязательно скоро перережет себе глотку и может сначала убить их всех, он приходит в отчаяние и идет рассказать хозяйке об услышанном. Та говорит ему, что он все это придумал. С этого момента Ляшкин уже не уверен, правда ли то, что он слышит. Как следует из названия, в основе «Трудно верить» лежит навязчивый вопрос, вообразил ли Ляшкин посягательства своих соседей или они были на самом деле. На этот вопрос ответить нельзя. Рассказ пересказывается Ляшкиным знакомому, который в заключение говорит читателю: «Передавая этот рассказ со слов литератора, автор не ручается за достоверность его». Признавая, что эта история была бы очень печальной, если была бы правдой, рассказчик заключает: «И этим автор вовсе не хочет защищать литератора, который, действительно, может быть, переехал на эту квартиру, жил на ней и съехал с нее в белой горячке»²⁴. Разделение между мнимым «автором» рассказа и персонажем, с точки зрения которого ведется повествование, позволяет Решетникову создать неавторскую точку зрения, выглядящую достоверно, но не дающую узнать, был ли опыт писателя реальным или воображаемым.

Таким образом, Решетников перерабатывает эпизод настоящего бреда, который он пережил и очень подробно описал в своем дневнике. В конце 1868 года в пространной записи Решетников возвращается к прошедшим событиям после длительного периода, в течение которого он не успевал регулярно писать. Решетников с женой жили в Бресте, где его жена служила акушеркой. Как это часто случалось с Решетниковым, его мучила социальная тревожность, усугубляемая незнакомым окружением. Постепенно социальная тревожность в дневниковой записи становится все более выраженной. Решетников совершает короткую поездку в Петербург и, когда возвращается, заболевает, как и его жена.

23 Очерк был написан в 1868 году, но не публиковался до 1931 года, когда появился в томе «Литературного наследия», см.: *Решетников Ф.М. I. Трудно верить. II. Филармонический концерт / Предисл. и коммент. И.И. Векслера // Литературное наследие. Т. 1. М.: Жур.-газ. объединение, 1931. С. 272–297.*

24 Там же. С. 297.

Ходят слухи, что оба заражены сифилисом. Жена уезжает на некоторое время по работе. Сильно выпив в дни после ее отъезда, он завязывает на два дня²⁵. В этот момент читатель дневника начнет понимать, что описанные события не могли происходить. Сначала, как в «Трудно поверить», появляется знакомый, желающий предупредить Решетникова, чтобы он не перерезал себе горло («Федор Михайлович, вы не зарежьтесь!»). Отсюда галлюцинации Решетникова разгоняются до уровня гротескного насилия, далеко превосходящего все, что появится в его более позднем рассказе: другой знакомый убивает двадцать три человека и угрожает вырезать Решетникову печень; разные люди разрезаны на куски и тем не менее живут; жена Решетникова требует, чтобы его разделили и зажарили²⁶. Кульминацией сна является пожар в доме, в котором Решетников сгорает вместе со всей семьей.

В дневниковом описании Решетникова подчеркнута не различается, когда именно реальность уступает место галлюцинациям. Он рассказывает о событиях именно так, как он их пережил, так что читатель дневника понимает, что происходящее не может быть правдой, когда его соседи начинают резать друг друга на куски. «Трудно поверить» раскрывает суть этой неопределенности. Решетников сосредотачивается на стержневом переживании социальной паранойи и убирает крайности насилия, проявившиеся в его галлюцинации. Таким образом, предметом очерка Решетникова становятся его неурегулированные отношения с собственными способностями восприятия.

Конечно, изображения бреда имеют богатую традицию в русской литературе. Бред часто появляется в русской и европейской романтической словесности (например, «Сильфида» (1837) В.Ф. Одоевского), а затем и в «романтическим реализме» Гоголя и Достоевского, в известных произведениях которых персонажи галлюцинируют [Fanger 1998]. Галлюцинаторные нарративы разночинцев отличаются тем, что они исходят из стремления изобразить эмпирическую реальность и в итоге приводят к расшатыванию основы того самого нарративного авторитета, установлению которого служит самописание разночинца. Если повествование о взрослении, подобное тому, что появляется в разночинских псевдоавтобиографических очерках, должно реализовывать связный сюжет, то в повествованиях Левитова и Решетникова изображаются сюжеты, выстраданная связность которых разрушается.

Тем не менее эти рассказы о личностном распаде составляют часть повествований разночинцев о самих себе. Действительно, материальные лишения, болезни и алкоголизм легко вписывались в культурный образ забитого разночинца-писателя как самоотверженного мученика во имя общего блага. Очерки бреда черпали правдивость из жизненного опыта. Они были написаны, когда их авторам становилось все хуже и хуже, и предвосхищали смерть, ожидавшую Решетникова и Левитова²⁷. Алкоголь также способствовал смерти Помяловского от гангрены ноги в возрасте 28 лет в 1864 году, и знакомые описывали галлюцинации автора, когда он лежал в больнице²⁸. Благовещенский вписал

25 Решетников Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 321–322.

26 Там же. С. 324.

27 Левитов и Решетников умерли молодыми — в 41 год в 1877 году и 29 лет в 1871 году соответственно, — причем алкоголь усугубил болезни, от которых они умерли: Левитов — от хохотки, Решетников — от отека легких.

28 Ободовский К. Листки из записной книжки // Исторический вестник. 1893. № 12. С. 778–779.

смерть Помяловского в культурные рамки, где обстоятельства смерти авторов часто выполняли важные символические функции. Как подчеркивает Алексей Вдовин, «смерть литератора в русской культуре окружена мученическим ореолом». Сам Пушкин — первый образец этого литературного мартиролога; а преждевременная смерть Белинского и Добролюбова, наряду с «гражданской казнью» Чернышевского, составляют особый мартиролог радикальной традиции [Вдовин 2017: 261]. Считалось, что Белинский, Добролюбов и Чернышевский пострадали в столкновениях с государством, будь то из-за цензуры или более прямых репрессий, которым подвергся Чернышевский. Следуя этой модели, Благовещенский предполагает, что смерть Помяловского была связана с его преданностью своему делу: он умер, потому что пил, а пил из-за количества страданий, свидетелем которых он был [Благовещенский 1935: XLI].

Нарративы Решетникова и Левитова о бреде и свидетельства о потере Помяловским связного сознания перед смертью предлагают иной, нежели в случае с Чернышевским и Добролюбовым, фундамент для коллективного мартиролога разночинских писателей. Из этих свидетельств вытекает, что не конфронтация с государством, а сама писательская работа и борьба за поддержание стабильной повествовательной позиции наблюдателя подорвали их физическое и психическое здоровье. Другими словами, авторы-разночинцы страдали и умирали из-за самой социальной структуры, своего места в ней и своей попытки описать мир с этой позиции.

* * *

Такие писатели, как Левитов, Решетников, Помяловский и Николай Успенский, аргументировали свое присутствие в интеллектуальной культуре через собственный опыт, охватывающий самые глубокие пласты реальности русской жизни. Их плацдарм по обе стороны водораздела, который, как считалось, отделял интеллектуальную элиту от «народа» в середине XIX века, был основой их литературной субъективности. Однако эту роль было нелегко сыграть, о чем свидетельствуют собственные рассказы этих писателей. Э. Киммерлинг Виртшафтер утверждает, что чувство обособленности и отчуждения по отношению к более широким слоям населения, приписываемое интеллигенции, было связано не с культурной пропастью, созданной вестернизацией, как считал Достоевский, а скорее с «отсутствием формальных структур в русском обществе... и невозможностью установить прочные связи в рамках надежных, исторически устойчивых социальных институтов» [Wirtschafter 1994: 131]. Даже когда представители «народа» все больше приобщались к литературной культуре, отсутствие институтов и форм социальной принадлежности означало, что артикулировать общие политические и художественные цели, основанные на широком понимании общества, оставалось трудной, если не невозможной, задачей.

В конечном счете Левитов и Решетников показали, что их собственной способности наблюдать за жизнью было недостаточно для реализации той общественной цели, которую они себе ставили. Таким образом они очерчивали пределы тех самых надежд и планов, которые вдохновили их покинуть провинцию и писать. Идя дальше рассмотренной выше критики толстовской тотальности, созданные ими нарративы о бреде подняли вопросы о возможности наделить литературу преобразующей общество силой, — возможности, кото-

рая с самого начала легла в основу разночинского проекта. Предлагаемая разночинцами социально обусловленная истина не могла существовать, потому что социальная структура не могла дать ее авторам средств к существованию. Литература, не встроенная в более широкие социальные и политические реформы, не может исцелить больной мир.

Авторизованный перевод с английского Алексея Вдовина

Библиография / References

- [Благовещенский 1935] — *Благовещенский Н. Николай Герасимович Помяловский // Помяловский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 2 т. Т. 1 / Под ред. И.Г. Ямпольского. М.; Л.: Academia, 1935. С. XV—XLVI.*
- (*Blagoveshchenskiy N. Nikolay Gerasimovich Pomyalovskiy // Pomyalovskiy N.G. Poln. sobr. soch.: In 2 vols. Vol. 1 / Ed. by I.G. Yampol'skiy. Moscow; Leningrad, 1935. P. XV—XLVI.*)
- [Вдовин 2017] — *Вдовин А. Добролюбов: разночинец между духом и плотью. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2017.*
- (*Vdovin A. Dobrolyubov: raznochinets mezhdru dukhom i plot'yu. Zhizn' zamechatel'nykh lyudey. Moscow, 2017.*)
- [Векслер 1948] — *Векслер И.И. Федор Михайлович Решетников: Критико-биографический очерк // Решетников Ф.М. Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под ред. И.И. Векслера. Т. 6. Свердловск: Свердловгиз, 1948. С. 5—62.*
- (*Veksler I.I. Fedor Mikhailovich Reshetnikov: Kritiko-biograficheskii ocherk // Reshetnikov F.M. Poln. sobr. soch.: In 6 vols. / Ed. by I. I. Veksler. Vol. 6. Sverdlovsk, 1948. P. 5—62.*)
- [Вердеревская 1975] — *Вердеревская Н.А. Становление типа разночинца в русской реалистической литературе 40-х — 60-х годов XIX века. Казань: КГПИ, 1975.*
- (*Verderevskaia N.A. Stanovlenie tipa raznochinca v russkoy realisticheskoy literature 40-kh — 60-kh godov XIX veka. Kazan, 1975.*)
- [Дячук 2010] — *Дячук Т. Писатели-разночинцы 1860-х годов. Формы литературного творчества и социального поведения. СПб.: Слага, 2010.*
- (*Diachuk T. Pisateli-raznochintsy 1860-kh godov. Formy literaturnogo tvorchestva i sotsial'nogo povedeniya. Saint Petersburg, 2010.*)
- [Дергачев 1958] — *Дергачев И. По архивным страницам: Новые материалы к биографии Ф. М. Решетникова // Урал. 1958. № 3. С. 133—137.*
- (*Dergachev I. Po arkhivnym stranitsam: Novye materialy k biografii F.M. Reshetnikova // Ural. 1958. No. 3. P. 133—137.*)
- [Громько 1985] — *Громько М. Сибирские друзья и знакомые Ф.М. Достоевского. Новосибирск: Наука, 1985.*
- (*Gromyko M. Sibirskie druz'ya i znakomye F.M. Dostoevskogo. Novosibirsk, 1985.*)
- [Живов 1999] — *Живов В.М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // Новое литературное обозрение. 1999. Т. 37. № 3. С. 37—51.*
- (*Zhivov V.M. Marginal'naya kul'tura v Rossii i rozhdenie intelligentsii // Novoe literaturnoe obozrenie. 1999. Vol. 37. No. 3. P. 37—51.*)
- [Зубков 2019] — *Зубков К.Ю. Идеология и биография радикального разночинца в конце XIX века: Н.В. Успенский и литературный фонд // Складчина: сборник статей к 50-летию профессора М.С. Макеева / Под ред. Ю.И. Красносельской и А.С. Федотова. М.: ОГИ, 2019. С. 71—94.*
- (*Zubkov K.Iu. Ideologiya i biografiya radikal'nogo raznochinca v kontse XIX veka: N.V. Uspenskiy i literaturnyy fond // Skladchina: sbornik statey k 50-letiyu professora M.S. Makeeva / Ed. by Iu.I. Krasnosel'skaia and A.S. Fedotov. Moscow, 2019. P. 71—94.*)
- [Никольский 1905] — *Никольский В. А.И. Левитов как человек и писатель // Левитов А.И. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 1. СПб.: Изд. Н.Ф. Мерца, 1905. С. 3—28.*
- (*Nikol'skii V. A.I. Levitov kak chelovek i pisatel' // Levitov A.I. Poln. sobr. soch.: In 4 vols. Vol. 1. Saint Petersburg, 1905. P. 3—28.*)
- [Печерская 2018] — *Печерская Т.И. Разночинский дискурс русской литературы XIX века: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018.*

- (*Pecherskaia T.I. Raznochinskiy diskurs russskoy literatury XIX veka: uchebnoe posobie. Novosibirsk, 2018.*)
- [Печерская 2020] — *Печерская Т.И.* Феномен культурной экспансии разночинцев 1860-х годов: литературная ниша «писатель-народник» // Критика и семиотика. 2020. Т. 38. № 1. С. 263—278.
- (*Pecherskaia T.I. Fenomen kul'turnoy ekspansii raznochintsev 1860-kh godov: literaturnaya nisha "pisatel'-narodnik" // Kritika i semiotika. 2020. Vol. 38. No. 1. P. 263—278.*)
- [Сажин 1989] — *Сажин В.Н.* Книги горькой правды. М.: Книга, 1989.
- (*Sazhin V.N. Knigi gor'koy pravdy. Moscow, 1989.*)
- [Троицкий 1989] — *Троицкий В.Ю.* Воронов Михаил Алексеевич // Русский писатель. 1800—1917: Биографический словарь / Под ред. П.А. Николаева: В 7 т. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 487—488.
- (*Troitskii V.Yu. Voronov Mikhail Alekseevich // Russkie pisateli 1800—1917: Biograficheskiy slovar' / Ed. by P.A. Nikolaev: In 7 vols. Vol. 1. Moscow, 1989. P. 487—88.*)
- [Чанцев 1994] — *Чанцев А.* Левитов Александр Иванович // Русский писатели. 1800—1917: Биографический словарь / Под ред. П.А. Николаева: В 7 т. Т. 3. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. С. 304—307.
- (*Chantsev A. Levitov Aleksandr Ivanovich // Russkie pisateli 1800—1917: Biograficheskiy slovar' / Ed. by P.A. Nikolaev: In 7 vols. Vol. 3. Moscow, 1994. P. 304—307.*)
- [Чуковский 1933а] — *Чуковский К.И.* Николай Успенский, его жизнь и творчество // Успенский Н.В. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Academia, 1933. С. 7—64.
- (*Chukovskii K.I. Nikolay Uspenskiy, ego zhizn' i tvorchestvo // Uspenskii N.V. Soch.: In 2 vols. Vol. 1. Moscow, 1933. P. 7—64.*)
- [Чуковский 1933б] — *Чуковский К.И.* Реакционная легенда о Некрасове и ее защитники // Литературная газета. 1933. № 17. 11 апреля.
- (*Chukovskii K.I. Reaktsionnaya legenda o Nekrasove i ee zashchitniki // Literaturnaya gazeta. 1933. No. 17. April 11.*)
- [Чуковский 1934] — *Чуковский К.И.* Люди и книги шестидесятих годов: статьи и материалы. Л.: Изд-во писателей, 1934.
- (*Chukovskii K.I. Lyudi i knigi shestidesyatykh godov: stat'i i materialy. Leningrad, 1934.*)
- [Baer 2014] — *Baer J.* The 'Physiological Sketch' in Russian Literature // Nineteenth-Century Literature Criticism / Ed. by L. Trudeau. Vol. 294. Farmington Hills, Michigan: Gale, 2014. P. 11—18.
- [Fanger 1998] — *Fanger D.* Dostoevsky and Romantic Realism: A Study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens, and Gogol (1965). Evanston, IL: Northwestern University Press, 1998.
- [Flath 1990] — *Flath C.* Seminary Heroes in Mid-Nineteenth-Century Russian Fiction // Canadian-American Slavic Studies. 1990. Vol. 24. No. 3. P. 279—294.
- [Freeze 1983] — *Freeze G.* The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.
- [Glickman 1967] — *Glickman R.* The Literary Raznochintsy in Mid-Nineteenth Century Russia. Ph.D. Dissertation: University of Chicago, Department of History, 1967.
- [Glickman 1974] — *Glickman R.* An Alternative View of the Peasantry: The Raznochintsy Writers of the 1860s // Slavic Review. 1974. Vol. 32. No. 4. P. 693—704.
- [Holland 2013] — *Holland K.* The Novel in the Age of Disintegration: Dostoevsky and the Problem of Genre in the 1870s. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2013.
- [Manchester 2011] — *Manchester L.* Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia and the Modern Self in Revolutionary Russia. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 2011.
- [Paperno 1988] — *Paperno I.* Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988.
- [Platt 1997] — *Platt K.* History in a Grotesque Key: Russian Literature and the Idea of Revolution. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
- [Reyfman 1999] — *Reyfman I.* Ritualized Violence Russian Style: the Duel in Russian Culture and Literature. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
- [Reyfman 1990] — *Reyfman I.* Vasilii Trediakovsky: The Fool of the "New" Russian Literature. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.
- [Schrader 2002] — *Schrader A.* Languages of the Lash: Corporal Punishment and Identity in Imperial Russia. DeKalb, Ill: Northern Illinois University Press, 2002.
- [Steiner 2011] — *Steiner L.* For Humanity's Sake: The Bildungsroman in Russian Culture. Toronto, CA: University of Toronto Press, 2011.
- [Wachtel 1990] — *Wachtel A.* The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.
- [Wirtschafter 1994] — *Wirtschafter E.* Structures of Society: Imperial Russia's "People of Various Ranks". DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1994.